

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ПЛАСТИНА С ЧУЖИМ ЛИЦОМ



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1883

Надежда Чародейская

Пластина с чужим лицом

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Пластина с чужим лицом / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, весна 1883 года. Гимназистка Лиза приносит фотографу Вересову старую стеклянную пластину с бабушкиного чердака: снимал покойный дед, а что на ней — не знает никто. Вересов проявляет негатив — и видит помолвочный портрет. На нём невеста. Только невеста эта — не бабушка Лизы: у женщины на снимке родинка над бровью, а у бабушки её нет. Зато у незнакомки, которую всё чаще видят у дома Каптелевых, — точь-в-точь бабушкино лицо... и родинка на месте. А когда в пруду находят утопленным старого приказчика, Вересов понимает: тридцать лет назад в этой семье произошла подмена, и кто-то до сих пор готов убивать, чтобы её не раскрыли. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижова о фотографе, который умеет видеть на стекле то, чего не замечают люди.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая,	7
Глава вторая,	14
Глава третья,	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Пластина с чужим лицом

Пролог

В тот вечер над прудами Озерков стояла такая тишина, что было слышно, как остывает вода.

Две девушки — одинаковые до того, что сама природа, казалось, зачем-то повторила одно лицо дважды, — стояли на берегу, у самой кромки, и смотрели не друг на друга, а в тёмную воду, как смотрят в неё люди, которым некуда больше смотреть. Обе в светлых платьях, обе с косами, уложенными вокруг головы одинаковыми венцами, и различала их теперь одна только малость, которую в сумерках не разглядел бы и родной отец: у той, что стояла слева, над правой бровью сидела маленькая тёмная родинка, круглая, как зёрнышко. У той, что стояла справа, — не было ничего.

— Ты не можешь, — сказала одна, не оборачиваясь. Голос у неё был ровный, но в нём уже дрожало то, что бывает перед криком. — Не можешь ты его любить. Ты его и не видела.

— А ты его видела, — отозвалась вторая, и в голосе её дрожало другое. — Видела раз в жизни, на смотринах, при маменьке. И что ты в нём разглядела? Усы?

— Он хороший человек.

— Он хорошая партия, — поправила вторая. — Партию тебе маменька нашла. И дом, и лавку, и имя — всё тебе, всё Анфисе. А Глафире что? Глафире — Тихвин, тётка и вечная Пасха из трёх яиц. Ты тридцать раз могла отказаться. Ты не отказалась.

Одна из них — та, что с родинкой, — повернулась наконец к сестре, и стало видно, что они не только лицом, но и ростом, и даже наклоном головы — одно существо, раздвоенное по ошибке.

— Отказаться? — переспросила она тихо. — А чем я жить стану? Приданого-то у меня, сама знаешь, на полкурицы. Маменька за Ермолая не меня отдаёт — она наше семейство спасает. И я, — голос её дрогнул, — я не могу.

— А я могу, — вдруг сказала вторая, и это прозвучало так просто, так страшно, что первая отступила на шаг, и трава под её башмаком осыпалась в воду. — Я бы на твоём месте... я бы сумела. Я бы его полюбила. Я бы всё сумела, — она шагнула к сестре, — если бы мне дали хоть раз пожить твоей жизнью.

— Глаша...

— Что «Глаша»? — вторая была уже совсем близко, и глаза её, такие же, как у сестры, горели в сумерках незнакомым, чужим светом. — Двадцать лет меня нет. Нет Глаши — есть Анфиса. Глашу и в бумагах-то, поди, давно не пишут. А ты вон — невеста. На карточке тебя сняли. Примета у тебя даже записана: родинка над бровью. Всё у тебя есть, всё. Кроме одного.

— Чего? — выдохнула первая.

— Охоты, — ответила вторая и толкнула её.

Толкнула не со всей силы — но у самой воды, на скользкой вечерней траве, много ли надо. Первая вскрикнула, взмахнула руками, ухватилась было за рукав сестры — и сорвалась. Вода приняла её нехотя, глухо, как принимает всё, что падает в неё в сумерках. Всплеск, круги, тёмная голова на мгновение вынырнула — и снова ушла вниз, и по пруду пошла, расходясь, тихая, тяжёлая рябь.

Та, что осталась на берегу, стояла не двигаясь. Она смотрела в воду так долго, что у неё застыли руки, а потом медленно, как во сне, нагнулась и подняла из травы то, что блеснуло у самой кромки: кольцо. Помолвочное. Оно соскочило с пальца сестры в тот миг, когда та хваталась за её рукав.

Глафира выпрямилась, надела кольцо на свой палец — оно село как влитое, будто его для неё и отливали, — и в первый раз за весь вечер посмотрела не в воду, а на тёмную гладь, в которой уже ничего нельзя было разглядеть.

— Теперь меня зовут Анфисой, — сказала она пруду. И пруд ничего ей не ответил, потому что пруды, в отличие от людей, молчат о том, что видели.

Прошло тридцать лет.

Весной восемьдесят третьего года, когда в доме на Загородном затеяли перебирать чердак, гимназистка Лиза Каптелева, отправленная туда с наказом «выгрести, что похуже, да в топку», забралась наверх с той смешанной опаской и азартом, с какой девицы её лет лезут в места, куда их не звали. Чердак был пыльный, полный старья: сундуки с отсыревшими платьями, сломанные стулья, ящики с пожелтевшими счетами, корзины с пустыми склянками, пахнувшими, как показалось Лизе, «аптекой и временем». И вот, перебирая ворох старого тряпья, она наткнулась на то, что лежало глубже всего, — под перевернутой колыбелью, за сундуком с дедушкиными инструментами.

Картонный футляр. Плоский, выцветший, перевязанный истлевшей тесьмой, с бумажной наклейкой, на которой бледными, полустёртыми, чернилами было выведено: «Помолвка. Апрель 1853».

Лиза, разумеется, открыла.

Внутри лежала стеклянная пластина — старая, с оббитыми краями, в тонкой бумажной обёртке. Лиза поднесла её к слуховому окну, к мутному весеннему свету, — и ахнула. На пластине, словно выплывая из серой глубины, проступали двое: молодой мужчина в сюртуке с бархатным воротником и совсем юная женщина в светлом платье, с цветком у плеча. Мужчину Лиза узнала сразу — это был её покойный дедушка, Ермолай Платонович, только до того молодой, что она сначала не поверила глазам. А вот женщину... женщину она, как ни вглядывалась, не узнавала. Или — что было ещё страннее — узнавала и не узнавала одновременно. Похожа была на бабушку, до того похожа, что мороз пробежал по спине. И всё же — не она.

— Господи, — прошептала Лиза, и пластина дрогнула в её руках, — да это же... это же не бабушка. У этой тут... родинка. Над бровью. А у бабушки нету...

Она села прямо на пыльный сундук, не чувствуя, как пачкается форменное платье, и долго сидела так, переводя взгляд с пластины на свет, со света на пластину, а в голове у неё, как на проявляемом стекле, медленно, смутно проступало что-то огромное и страшное, чему она ещё не знала имени.

А потом она спрятала футляр под передник, спустилась вниз и, никому ничего не сказав, — хотя, разумеется, всем всё сказала, потому что гимназистка, нашедшая на чердаке чужое лицо, утаить это может не больше, чем утаить весну, — стала думать, к кому бы с этим пойти. И вспомнила: есть в городе один фотограф, про которого писали в газетах, будто он видит на стекле то, чего не замечают люди.

Так, тридцать лет спустя, старая пластина и попала к Вересову.

Глава первая,

в которой гимназистка приносит старое стекло, а фотограф проявляет чужое лицо

Накануне, проводив гимназистку, Вересов до самой ночи не выпускал из рук принесённый ею картонный футляр. Он сидел в приёмной, при лампе, и вертел футляр так и этак, разглядывая его с той почтительной осторожностью, с какой разглядывают вещи, пролежавшие дольше, чем жил на свете тот, кто их снимал. Макар дважды звал его ужинать и дважды, не дождавшись, уходил восвояси, бормоча что-то о том, что «с этой пластиной, чуёт моё сердце, мы ещё наплачемся».

А утром, когда Вересов вошёл в тёмную комнату, Макар уже топтался у ванночек, дыша на стёкла и приговаривая, как на молитве. За окном занимался тот особенный, серый, но уже весенний рассвет, какой бывает в Петербурге только в апреле, когда зима сдаётся нехотя, по-стариковски, и по карнизам, вместо снега, начинает капать.

— Ну, барин, — не выдержал Макар, едва Вересов переступил порог, — не томите! Вчерась вы при барышне только лупу на неё наводили, а нынче, стало быть, проявлять будем? Я вам и проявитель свежий развёл, и ванночки вымыл, и фонарь красный зажёг. Всё как вы любите. Только, — он понизил голос и покосился на футляр, — только, чур, я рядом стоять буду. Потому как ежели там и впрямь что-нибудь такое... я хочу первым увидеть.

— Увидишь, — усмехнулся Вересов, снимая сюртук и засучивая рукава. — Только не первым. Первым увижу я, потому как я тут фотограф, а ты — ученик. А ученику, брат, положено смотреть вторым и молчать первым. — Он взял футляр, открыл и бережно, двумя пальцами, вынул пластину. — Ну-с, голубушка, — проговорил он, обращаясь не то к пластине, не то к самому себе, — поглядим, что ты там тридцать лет прятала. Только ты уж, будь добра, выходи потихоньку. Старые негативы, знаешь ли, пугливы: их, как покойников, резким светом не бери.

И он опустил пластину в ванночку, и красный свет фонаря лёг на его лицо, и в тёмной комнате сделалось так тихо, что слышно было, как за стеной, в павильоне, потрескивают, остывая, утренние стёкла.

Лицо проступало из темноты медленно, как проступает из тумана человек, который долго не решался подойти.

Вересов и Макар стояли в тёмной комнате ателье, под красным светом фонаря, и смотрели, как по стеклу, опущенному в ванночку с проявителем, растекаются первые тени. Сначала — ничего, только серая муть, как на всяком старом негативе, пролежавшем без дела бог знает сколько лет. Потом по углам поползла та молочная патина, какая бывает на пластинах, переживших не один переезд и не один сундук. А потом из этой мути, как из памяти, стало проступать то, что на пластине лежало три десятилетия и молчало.

— Гляди, барин, — выдохнул Макар, дыша Вересову в затылок так, что красный свет на стене дрогнул. — Гляди-и... Это ж не дядя с самоваром.

— Тсс, — отозвался Вересов, не оборачиваясь. — Проявление, Макар, — дело тихое. Оно, как исповедь: чем тише слушаешь, тем больше услышишь.

На стекле, словно поднимаясь со дна, проступала пара: мужчина и женщина. Мужчина — молодой, в сюртуке с бархатным воротником, с теми старательно приглаженными волосами и той застывшей, немного испуганной осанкой, с какой в середине века снимались люди, ещё не привыкшие к тому, что их лицо навсегда останется на стекле. А рядом с ним — женщина. Совсем юная, в светлом платье, с цветком, приколотым у плеча, и с лицом, которое — Вересов прищурился, поднося пластину ближе к красному свету, — было ему отчего-то знакомо.

— Помолвка, — сказал он наконец. — Или венчание накануне. Пятьдесят третий год, не позже. Гляди, как снято: выдержка длинная, подпорка за спиной у невесты — вон, из-за плеча

торчит. Раньше так снимали: сажали человека, а сзади — стойку, чтоб не шевелился, покуда свет ловится. — Он усмехнулся. — Теперь, Макар, мы с тобой людей за секунду снимаем, а тогда они перед объективом по полминуты стояли, как перед исповедью. Оттого и лица у них на старых снимках такие... торжественные.

Макар, не слушая, тянул шею через плечо хозяина.

— А барышня-то, барышня! — зашептал он. — Хороша, небось, была. Ишь, как смотрит — прямо на вас. На всех, выходит, на тридцать лет вперёд.

Вересов вынул пластину из ванночки, ополоснул, поднял к свету и долго смотрел. Что-то в этом лице было не так. Он не сразу понял, что именно, — а поняв, нахмурился.

— Позови-ка барышню, — сказал он тихо.

Лиза Каптелева ждала в приёмной, сидя на самом краешке стула, как сидят гимназистки в приёмной у директора: спина прямая, коса, перевязанная выпцветшей лентой, перекинута через плечо, и футляр из-под пластины прижат к груди, точно в нём, а не в тёмной комнате, хранилось всё её будущее. При появлении Вересова она вскочила.

— Ну что? — выпалила она. — Проявилось? Там есть кто-нибудь? А вдруг, — она понизила голос и оглянулась на дверь, — вдруг там правда что-нибудь такое?

— Есть, — кивнул Вересов, усаживая её обратно и кладя пластину на стол, на лист промокательной бумаги. — Только сперва, барышня, скажите мне одну вещь. Вы сказали, пластину снимал ваш покойный дедушка, когда в фотографии служил. Так?

— Так, — кивнула Лиза. — Бабушка говорила. Он, дедушка, до женитьбы в фотографии служил, на Невском, у одного немца. А потом женился и в купечество пошёл. А что?

— А то, — Вересов прищурился на пластину, — что пластине вашей, барышня, не пятнадцать лет и не двадцать, как вы мне давеча сказали, а все тридцать. А то и поболее. Глядите на патину, на ободраный край, на то, как коллодий отстал. Такое стекло за пятнадцать лет не наживают. Ему не меньше тридцати. Стало быть, снимал её ваш дедушка не накануне женитьбы, а почитай что в первый год службы. В пятьдесят третьем. Ну-ка, гляньте, кто на ней.

Лиза наклонилась над пластиной, как над колыбелью, и долго вглядывалась в мутное, уже ясное изображение.

— Дедушка, — прошептала она наконец. — Это дедушка. Я его на портрете в гостиной помню, он там молодой, в скюртуке. Один в один. А рядом... — она запнулась и подняла на Вересова растерянные глаза. — А рядом не знаю кто. Это не бабушка.

— Не бабушка? — переспросил Вересов.

— Ну... — Лиза снова уткнулась в пластину. — Бабушка, она... она другая. У неё лицо, конечно, похожее, только... — Она вдруг отшатнулась, как от холодного. — Только это не она. Я вам точно говорю: не она. У неё тут, — Лиза ткнула пальцем в невесту на пластине, — у неё тут родинка. Над бровью. А у бабушки никакой родинки нету. Никогда не было.

Вересов молчал. Он взял лупу, поднёс к пластине, и в стекле лупы над правой бровью невесты проступило то, что Лиза разглядела простым глазом: маленькая тёмная точка, круглая, как зёрнышко. Родинка. Снятая с той беспощадной точностью, с какой светопись запоминает всё, — и с той, с какой люди не запоминают ничего.

— Интересно, — проговорил он. — Очень интересно. Дедушка ваш, стало быть, снят с невестой, которая — не бабушка ваша, а невеста. И невеста эта, при всём сходстве, — с родинкой, которой у бабушки нет. — Он отложил лупу и посмотрел на Лизу. — А дедушка ваш, позвольте спросить, когда женился?

— В пятьдесят третьем, — отчеканила Лиза, как на уроке. — Бабушка говорила: венчались они вскоре после Благовещения, пятьдесят третьего года. И прожили, она говорит, душа в душу двадцать пять лет, до самой его кончины.

— Двадцать пять лет душа в душу, — повторил Вересов. — И ни разу, выходит, он не заметил, что у жены его родинки над бровью нету? Что она у неё, может, и была, да сошла?

— Родинки не сходят, — подал голос Макар из-за двери, где он, разумеется, подслушивал. — Родинка, барин, она у человека навсегда. Это уж я вам как... как человек скажу. У меня у самого, вон, на шее с детства бородавка сидит — и что хошь делай, не сходит. А родинка — она и подавно. Она ж, почитай, примета господняя.

— Вот видите, барышня, — усмехнулся Вересов, кивнув на дверь, — у меня тут и медицина, и богословие, и всё в одном лице. И, заметьте, оба правы. Родинка, действительно, у человека — как печать: и свести её непросто, и подделать невозможно. А вот имя... имя, в отличие от родинки, снять и надеть — легче лёгкого. Как шинель с чужого плеча. — Он помолчал, глядя на пластину. — Оттого-то светопись, барышня, и есть лучший документ на свете. Бумагу можно сжечь, свидетеля — уморить, а стекло... стекло тридцать лет молчит, а потом возьмёт и всё скажет. Всё, что на него попало. Даже то, чего люди предпочли не заметить.

— И то верно, — кивнул Вересов. — Не сходят. Тогда, барышня, выходит одно из двух: либо на пластине — не ваш дедушка, а похожий господин, либо невеста его — не та, что стала вашей бабушкой.

Лиза смотрела на него во все глаза, и в глазах этих медленно разгоралось то, что разгорается в человеке, когда ему в руки падает чужая, страшная и почему-то восхитительная тайна.

— Господин Вересов, — сказала она торжественным шёпотом, — а ведь это... это же выходит... у нас в семье кто-то лишний? Или, наоборот, кого-то нет? Вот вы и найдите! Пожалуйста! Я заплачу! У меня есть три рубля с полтиной — я копила на новый молитвенник, но если надо...

— Спрячьте ваши три рубля с полтиной, — усмехнулся Вересов. — За такие деньги я, может, и согласился бы снять покойника, но уж точно не воскрешать чужую невесту. — Он помолчал, глядя на пластину, и в груди у него снова шевельнулось то особое, смутное, что шевелится в фотографии при виде старого негатива, на котором лежит чужое, давно отжитое и почему-то не проявленное. — А впрочем...

— А впрочем? — Лиза подалась вперёд.

— А впрочем, я подумаю, — сказал Вересов. — Стекло оставьте у меня на денёк. И скажите-ка, барышня, вот что: бабушка ваша знает, что вы эту пластину сюда принесли?

Лиза замаялась, покраснела и принялась тереть ленту.

— Не совсем, — призналась она. — То есть она знает, что я её нашла, на чердаке, когда дом перебирали. И что я её... ну... не выбросила. А что я к вам пошла — этого она не знает. Папенька бы не позволил. Он говорит, что всё это баловство и что в газетах про вас пишут лишнее. А я... — она подняла на Вересова глаза, — а я думаю, что если уж кто и разберёт, кто у нас на пластине лишний, так только вы. Вы же умеете видеть на стекле то, чего не замечают люди. Про вас весь класс читал.

— Весь класс читал, — вздохнул Вересов. — Ну, раз весь класс... — Он поднялся, прошёлся по приёмной, остановился у окна, за которым ранняя апрельская Нева несла мимо Аптекарского острова последние грязные льдины, и долго смотрел на эту воду, тёмную, торопливую, как в проявителе. — Хорошо, барышня. Я возьмусь. Только не за три рубля с полтиной, а за одну вашу услугу.

— Какую? — Лиза вытянулась, как по команде «смирно».

— Вы мне покажете бабушку вашу. Не тайком, а в открытую, как в гости придёте. Скажете, что я — фотограф, которого вы пригласили снять семейство для карточки, весна, мол, самое время. Стариков, знаете ли, на карточку снимать — дело богоугодное, тут никто не откажет. А уж я, куда буду вас рассаживать да свет ставить, погляжу на бабушку вашу... и на всех остальных.

— И что вы на ней увидите? — с замиранием спросила Лиза.

— Родинку, — просто ответил Вересов. — Или её отсутствие. А больше, может, и ничего — но для начала, барышня, надобно посмотреть человеку в лицо. Потому что лицо, — он

обернулся к ней и улыбнулся, — оно, знаете ли, врёт реже, чем родословная. И куда реже, чем вдова.

Лиза ушла, оставив в приёмной запах гимназических чернил и лёгкое, весеннее, как сквозняк, ощущение беды, которая постучалась не в дверь, а в колокольчик. Вересов проводил её до порога, вернулся, сел и долго смотрел на пластину, лежавшую на столе.

Смотрел он не как зевака, а как мастер. Платье невесты, узкое в талии, с широкой юбкой на кринолине и белым воротничком, отогнутым по-дневному, было ещё той, дореформенной моды, когда дамы носили не турнюры, а кринолины, — а стало быть, снято всё это никак не позже начала шестидесятых, скорее же — в самом начале пятидесятых. Причёска — гладкий пробор, волосы, уложенные вокруг головы венцом, — тоже говорила о давнем: так причёсывались до того, как в моду вошли локоны с накладками. А уж коллодий... Коллодий, с его серебристой, чуть мутноватой глубиной и неровным, ручным краем, где слой отставал от стекла мелкими чешуйками, — коллодий выдавал возраст безошибочно, как дерево выдают годовые кольца. Тридцать лет, не меньше. Тридцать лет это стекло лежало в сундуке, на чердаке, и никто — ни внучка, ни бабушка, ни сам покойный фотограф — так и не узнал, что оно там хранило.

Вересов откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. И перед внутренним его взором, как на пластине, вдруг встала та давняя, чужая сцена: ателье на Невском, молодой ученик, ещё не купец, а всего лишь помощник фотографа, — и девица, которую он любит и снимает, и которую снимает, быть может, именно оттого, что не смеет иначе на неё смотреть. А потом — свадьба. И дом на Загородном. И тридцать лет, в течение которых на чердаке, между старыми кассетами и прочей рухлядью, лежит стекло с чужой, невыплаканной правдой.

— Ну-с, — пробормотал Вересов, открывая глаза, — стало быть, так. Светопись, брат, не только лица хранит. Она и время хранит, и любовь, и, — он усмехнулся, — как выясняется, чужие тайны. Надобно только не полениться и проявить.

Макар выждал, пока за барышней закроется дверь, выскользнул из-за притолоки и, оглянувшись, как заговорщик, зашептал:

— Барин, а барин! Это что же выходит — дедушка-то её, покойник, женился на одной, а на карточке у него другая? Это ж, выходит, у них в семействе двоежёнство или, того хуже, подмена!

— Ишь, разошёлся, — усмехнулся Вересов. — Двоежёнство, подмена... Ты, Макар, как всегда, сразу в самое тёмное. А может, всё проще: может, у дедушки этого до женитьбы невеста была, а после — другая. Случается. Снялся с одной, женился на другой. Что ж тут такого?

— А то, — Макар даже подпрыгнул, — что барышня сказывала: дедушка с бабушкой «душа в душу» прожили! А тут — невеста с родинкой. Не похоже, чтоб он другую-то забыл, ежели карточку всю жизнь в сундуке берёт!

— Вот это ты верно подметил, — кивнул Вересов. — Карточку берегут оттого, что она — память. А память о невесте, на которой не женился, в сундуке под замком не держат. Её, скорее, сжигают. Или, на худой конец, жене показывают: вот, мол, какие у меня прежде бывали. А эту — прятали. Тридцать лет прятали, и никто про неё не знал, куда гимназистка на чердак не залезла.

Он помолчал, поглаживая край пластины, и прибавил тихо:

— И вот что ещё, Макар. Дедушка её, по словам бабушки, «до женитьбы в фотографии служил». А снимал невесту с родинкой — в пятьдесят третьем, стало быть, ещё будучи фотографом. Стало быть, эта невеста ему — не просто невеста была. Он её сам снял. Сам проявил. Сам, поди, на стекле этом разглядывал, пока не влюбился. А женился, выходит, на другой. Вот и спрашивается...

— Что? — Макар подался вперёд, боясь пропустить.

— А то, — Вересов поднялся и бережно убрал пластину в футляр, — кто из них на этой карточке, а кто — в доме на Загородном. И не пора ли нам, брат, навестить госпожу Каптелеву, пока у неё ещё не было времени хорошенько подумать о том, что её внучка нашла на чердаке.

И колокольчик над дверью ателье, словно соглашаясь, звякнул сам собой — коротко и робко, как звякает он, когда за дверью стоит не заказчик, а весна.

*

Впрочем, наутро колокольчик звякнул совсем по-другому — требовательно, почти возмущённо, как звякает он, когда за дверью стоит не весна, а заказчица с претензией.

Дама вошла в ателье так, как входят люди, у которых случилось несчастье общественного значения: в шляпе, сидевшей чуть набекрень, с картонным футляром, прижатым к груди обеими руками, и с тем особенным, торжественно-обиженным выражением лица, какое бывает у пострадавших, решивших наконец дойти до самых верхов.

— Господин Вересов! — объявила она с порога, и голос её дрогнул от сдерживаемого негодования. — Я к вам как к последней надежде! Меня... меня подменили! На карточке! — И она, не переводя духа, выложила на стол отпечаток: семейный портрет, на котором, как сразу увидел Вересов, поверх чинной группы сидевших в креслах родственников лениво, как вторая луна, просвечивало чьё-то постороннее, сдвоенное лицо.

— Позвольте, сударыня, — начал Вересов, беря отпечаток, — а вы, часом, не пересаживались во время съёмки? Либо барышня-то ваша, — он кивнул на сдвоенное лицо, — не моргнула?

— Какое пересаживались! — всплеснула руками дама. — Я как села, так и сидела, как приклеенная! А на карточке — глядите! — глядите, кто у меня за спиной проступает! Ведь это же... это же не я! И не муж мой! И не тётя Пелагея! Это, — она понизила голос до трагического шёпота, — это лицо совершенно постороннее! Чужое лицо, господин Вересов! Мне соседка и говорит: «Это, — говорит, — Анфиса Семёновна, вам не карточку сняли, а порчу. Идите, — говорит, — к Вересову, он мёртвых на стекле проявляет, он разберёт». Вот я и пришла. Разберите!

Вересов вздохнул, достал лупу, поднёс к отпечатку и некоторое время добросовестно его разглядывал, хотя и без лупы всё было ясно: передержка, дрогнувшая камера, а вернее всего — и то, и другое разом, отчего и вышло на снимке это «чужое лицо», с которым всякий порядочный фотограф знаком, как с собственной ладонью.

— Вот что я вам скажу, сударыня, — произнёс он наконец, откладывая лупу. — Никакой порчи тут нет, а есть одна маленькая беда, с которой мы, фотографы, воюем всю жизнь. Свет. Свет, сударыня, штука своенравная: ему, знаете ли, всё равно, кто перед объективом — купец, генерал или тётя Пелагея. Он падает, как ему вздумается. И ежели в мастерской, где вас снимали, приоткрыли дверь ровно в тот миг, когда вы, простите, моргнули, — то на стекле и выйдет... вот такое вот. Второе лицо. Которое, по совести, есть не что иное, как вы же сами, только недоснятая.

— То есть, — дама поджала губы, — вы хотите сказать, что это я сама и есть? Посторонняя? У себя за спиной?

— Именно, — кивнул Вересов, невольно улыбаясь. — Вы, сударыня, — и никто иной. И, заметьте, это не самое худшее, что может выйти на стекле. Бывает, люди по полгода ходят с чужими лицами и не знают об этом. А вы вот, слава богу, сразу ко мне. И порчи на вас никакой нет, кроме одной: доверчивость к соседкам.

Дама, помолчав, забрала отпечаток, но ушла не сразу — ещё долго стояла у порога, сомневаясь, не обманывает ли её фотограф, который, по её твёрдому убеждению, «мёртвых проявляет, а живых выгораживает». А когда ушла, Макар, всё это время простоявший за приолокой, высунулся и фыркнул:

— Ну и публика, барин! Одни — чтоб их на карточке подменили, другие — чтоб не подменили. И все к нам. А мы, выходит, и сыск, и аптека, и суд присяжных — всё в одном флаконе. И за три рубля с полтиной!

— Не ворчи, Макар, — отозвался Вересов, глядя, как за окном по стеклу ползёт утренняя капля. — Всякая профессия, брат, — это отчасти сыск. Портной ищет, где у человека не по фигуре. Доктор — где у него болит. А фотограф, — он усмехнулся, — фотограф ищет, где у человека на снимке вышло не то лицо. И, что обидно, — он перевёл взгляд на стол, где под бумагой лежала вчерашняя пластина, — чаще всего находит.

И, говоря это, он думал уже не о даме со сдвоенным лицом, а о другом лице — о том, юном, с родинкой над бровью, что проступило вчера из тридцатилетней темноты и теперь, он чувствовал это почти физически, дышало у него на столе, как дышит за дверью человек, который пришёл слишком поздно и всё же пришёл.

*

До Загородного проспекта доехали на извозчике, и всю дорогу Макар вертелся на облучке, как на горячем самоваре, то и дело оборачиваясь к Вересову с вопросами, которые тот встречал коротким «погоди» и «посмотрим». Апрель в тот год выдался ранний и дерзкий, невский лёд тронулся ещё в марте, и по мостовым, между высохшими островками булыжника, текли в канавки мутные ручьи, уносившие с собой всё, что зима прятала под снегом: окурки, пробки, обрывки афиш и чьи-то, как показалось Вересову, несостоявшиеся тайны.

Дом Каптелевых стоял на Загородном, у Семёновского моста, — двухэтажный, с мезонином, с зеркальными окнами и с вывеской «Каптелев и сын. Галантерейная и суконная торговля», над которой, на чугунном кронштейне, покачивался на весеннем ветру золочёный грифон — не то сторож дома, не то его совесть. Вересов, вылезая из пролётки, оглядел фасад и невольно усмехнулся: в Петербурге, видно, все торговые дома подозрительно походили друг на друга — и золочёным зверем над дверью, и тайной под крышей.

Встретил их не лакей в ливрее, а сам Игнатий Ермолаевич Каптелев, старший сын покойного Ермолая, — человек лет двадцати восьми, плотный, с бородой, подстриженной по-купечески, но с глазами, выдававшими в нём нечто иное: не купеческую сметку даже, а ту особую, тревожную настороженность, какая бывает у людей, которые всё время ждут, что их о чём-нибудь спросят.

— Господин Вересов, — сказал он, выслушав о визите, и в голосе его не было ни радости, ни удивления, а было одно вежливое недоумение, каким встречают человека, явившегося без вызова и без нужды. — Сестрица моя, Лизавета, говорила, что пригласила вас снять семейство. Только, признаться, я полагал, что фотограф сам назначает день, а не является на завтра же с утра.

— Свет, сударь, не ждёт, — развёл руками Вересов. — Весна, окна в вашем доме, я поглядел, на полдень выходят. Нынче солнце — самое то для семейной карточки: ровное, нежесткое, лица не щадит, зато души не лжёт. А завтра, глядишь, и дождь зарядит.

— Души не лжёт, — повторил Игнатий Ермолаевич и вдруг усмехнулся — коротко, невесело. — Любопытно вы, однако, о своём ремесле рассуждаете. У нас в лавке так о сукне не говорят. Ну, да входите. Только уговор: матушку не утомлять. Она у нас, знаете ли, с некоторых пор... нездорова.

— Нездорова? — переспросил Вересов, переступая порог. — С некоторых пор — это с каких же, позвольте?

Игнатий Ермолаевич обернулся на ходу, и взгляд его на мгновение задержался на Вересове — не враждебно, но внимательно, как задерживается взгляд приказчика на покупателе, который слишком уж интересуется ценой.

— А с тех самых, — сказал он ровно, — как в доме завелись вопросы, на которые матушка не любит отвечать.

Вересов понял, что Лиза, разумеется, не удержалась и рассказала домашним про пластину, про родинку и про фотографа, который всё разберёт. И понял ещё, что разговор, который он собирался вести осторожно, с подходом, придётся вести теперь открыто, под золочёным грифоном и под холодным взглядом старшего сына, который — Вересов готов был поклясться — уже пожалел, что впустил его в дом.

Глава вторая,

в которой бабушка держит лицо, а семейный альбом — язык за зубами

Накануне, когда Лиза воротилась домой с Загородного, в доме Каптелевых уже знали, что она была у фотографа. Откуда знали — Лиза так и не поняла: то ли кто из дворовых видел, как она выходила с картонным футляром, то ли сам дом, с его золочёным грифоном и зеркальными окнами, имел привычку видеть всё, что творится у него под носом. Так или иначе, а за ужином, когда подали кулебяку, Игнатий Ермолаевич, отложив нож, произнёс тем ровным, не предвещающим ничего хорошего голосом, каким говорил о просроченных векселях:

— А ты, Лизавета, я слышал, нынче на Аптекарский ездила. К господину этому... как его... про которого в газетах пишут. Так?

Лиза, уткнувшись в тарелку, что-то пролепетала про «подумать». Но бабушка — а сидела она во главе стола, прямая, как всегда, — вдруг подняла глаза от чашки и посмотрела на внучку тем своим взглядом, от которого у Лизы, по её собственному признанию, «всегда делалось холодно в животе».

— И что же, — спросила Анфиса Павловна тихо, но так, что за столом стало слышно, как капает из крана в буфетной, — что же ты ему отнесла? Уж не дедушкину ли карточку, что на чердаке нашлась?

И тут, по словам Аксины, которая подавала самовар и всё слышала, случилось нечто, чего в этом доме не случалось тридцать лет. Барыня не рассердилась. Не всплеснула руками. Не велела внучке «выбросить эту дрянь». Она поставила чашку — осторожно, так, что блюдце не звякнуло, — и некоторое время сидела молча, глядя в одну точку на скатерти. А потом произнесла, не поднимая глаз:

— Пластину надобно вернуть. Негоже чужому человеку копаться в семейном.

И ушла к себе, не доев кулебяки. И Аксиныя, глядя ей вслед, впервые за тридцать лет перекрестилась тайком — потому что почуяла то, что чувствуют старые слуги, прожившие жизнь при господах: в дом вошло что-то, чему при дверях, видно, не сказали «нет».

А утром к дому подкатила пролётка, и из неё вышел незнакомый господин с зоркими, всё примечавшими глазами, и золочёный грифон над дверью, казалось, проводил его своим недвижным, всё понимающим взглядом.

Гостиная у Каптелевых была устроена так, как устраивают гостиные в домах, где боятся перемен: тяжёлые портьеры, бронзовые часы под стеклянным колпаком, на стенах — портреты, и все до одного такие, что, глядя на них, невольно думаешь: люди эти позировали не столько перед объективом, сколько перед собственным благополучием. Посреди этой застывшей, благонаправленной тишины и сидела она — Анфиса Павловна Каптелева, бабушка Лизы, — прямая, в тёмном платье с белым воротником, с лицом, которое Вересов узнал бы из тысячи: то самое, с пластины. И всё же — не то.

Разница была в той самой малости, о которой говорила Лиза, и малость эта, как всякая малость, бросалась в глаза тем сильнее, чем дольше ты на неё смотрел. Над правой бровью Анфисы Павловны не было ничего. Ни родинки, ни её следа, ни той едва заметной неровности кожи, какая остаётся, когда родинку сводят. Гладкий, как у куклы, лоб. И у Вересова, человека, который двадцать лет имел дело с лицами, при взгляде на этот лоб шевельнулось то самое чувство, с каким ретушёр смотрит на негатив, с которого что-то подчищено.

— Садитесь, сударь, — сказала Анфиса Павловна, не поднимаясь, и голос у неё оказался ровный, низкий, с той сдержанной приветливостью, за которой, как за портьерой, ничего не разглядеть. — Лизавета мне про вас всё уши прожужжала. И про пластину, и про родинку, и про то, что вы, будто бы, всё разберёте. Девочка у нас пылкая. В отца. — Она помолчала и прибавила, не меняясь в лице: — Только зря она вас потревожила, господин фотограф. На

пластине той — я. Просто я тогда, по молодости, родинку имела. А потом сошла. От болезни. Или от возраста — я уж и не упомню.

— Родинки не сходят, сударыня, — мягко сказал Вересов, усаживаясь и принимая от горничной стакан чаю, который, впрочем, пить не торопился. — Родинка — она, как лицо, навсегда. Её можно свести, прижечь, кислотой вытравить — но тогда останется след, ямка, шрамик. А у вас, Анфиса Павловна, — он глянул ей прямо в лоб, — и следов нету. Кожа ровная, как на младенце. Стало быть, либо родинки не было вовсе, либо...

— Либо? — Она впервые подняла на него глаза, и Вересов отметил, что глаза у неё — не старушечьи, не выцветшие, а тёмные, живые, и смотрят они на него с той спокойной цепкостью, с какой смотрят на муху, севшую на край тарелки.

— Либо на пластине не вы, — закончил он просто.

Анфиса Павловна молчала, и Вересов, человек, привыкший ждать, как ждут в тёмной комнате, пока проявится изображение, не торопил её. Он смотрел на неё — на этот гладкий, слишком гладкий лоб, на эти руки, спокойно лежавшие на коленях, на эту прямую, негнушущую спину, — и думал о том, что перед ним сидит не старуха, не вдова, не мать семейства, а женщина, которая тридцать лет прожила в осаде. И осада эта, как всякая долгая осада, сделала своё дело: снаружи — стены, бастионы, ров. А что внутри — того уж и не разглядишь.

— Вы, сударь, — заговорила она наконец, и голос её прозвучал неожиданно глухо, — про покойного мужа моего спросите лучше. Он меня знал так, как вы никогда не узнаете. И жили мы с ним... — она вдруг запнулась, и Вересову показалось, что в этом коротком сбое, в этой почти незаметной трещинке голоса, промелькнуло что-то настоящее, — жили мы с ним хорошо. Душа в душу. Он был человек добрый. И ежели б он сейчас был жив, он бы вам то же сказал: не троньте, сударь. Оставьте мёртвым мёртвое, а живым — их покой.

— И покойнику его, стало быть, покой нужен, — тихо отозвался Вересов. — А светопись, выходит, зря старалась: сняла, сохранила, донесла до вашей внучки. Всё зря? — Он покачал головой. — Нет, Анфиса Павловна. Не зря. Светопись не для того дана, чтобы мёртвое хоронить. Она для того дана, чтобы живое на свет выводить. А ваша внучка, — он помолчал, — ваша внучка, она ведь не со зла ко мне пришла. Она пришла, потому что ей правда надобна. И знаете, что я вам скажу? — Вересов подался вперёд и заговорил негромко, веско: — Молодые, они правду за версту чувят. Как весну. А мы, старые, — мы её закапываем, да всё не туда. Вот она и выходит наружу. То через гимназистку, то через старый негатив, а то, — он усмехнулся, — и через фотографа с Аптекарского острова.

В гостиной стало тихо так, что слышно было, как за окном, по водосточной трубе, стекает апрельская вода. Игнатий Ермолаевич, стоявший у окна со сложенными на груди руками, не шевелился, но Вересов видел, как побелели его пальцы, вцепившиеся в собственный локоть. Лиза, притулившаяся в углу дивана, сидела, не дыша, и глаза её перебежали с бабушки на Вересова и обратно, как у зрителя, попавшего в театр, где пьеса оказалась настоящей.

— Вы, сударь, — медленно произнесла Анфиса Павловна, и ни одна черта её лица не дрогнула, — пришли в мой дом и говорите мне, что на карточке моего покойного мужа, на карточке, которую я берегу тридцать лет, снята не я. Вы понимаете, как это звучит?

— Понимаю, — кивнул Вересов. — Звучит невежливо. Но я, сударыня, не в гости пришёл — я пришёл смотреть. А смотреть — моя служба. И вижу я вот что: на пластине невеста с родинкой над правой бровью. У вас — ни родинки, ни следа. И это, заметьте, не я выдумал: это светопись записала тридцать лет назад, а ваша внучка разглядела вчера. Светопись, сударыня, не лжёт. Она только проявляет то, что есть. А есть, судя по всему, две женщины с одним лицом: одна — на стекле, другая — в этом кресле.

Анфиса Павловна помолчала, потом отставила чашку — осторожно, так, что блюдце не звякнуло, — и вдруг улыбнулась. Улыбка у неё вышла сухая, как страница старого календаря.

— Господин Вересов, — сказала она, — вы, я вижу, человек неглупый. Так послушайте неглупого совета. Есть в нашем семействе одна история, и история эта старая, как мой покойный муж, и такая же, как он, — никому уже не нужная. Не будите её. Молодой девице, — она перевела взгляд на Лизу, и в голосе её мелькнул лёд, — надобно думать об уроках, а не о родинках на старом стекле. А вам, фотограф, надобно думать о заказчиках. Вас, говорят, теперь много. Зачем же вам, скажите на милость, копаться в чужом сундуке?

— Затем, — Вересов поставил нетронутый стакан на поднос и поднялся, — что сундук этот уже открылся. И то, что из него вылезло, обратно не загонишь. Пластины я проявил — стало быть, дело пошло. А бросить дело на полдороге я не умею: у меня, знаете ли, от недоявленного негатива руки чешутся.

Он поклонился — коротко, но учтиво — и направился к дверям, чувствуя спиной три взгляда: холодный, испуганный и тот, третий, — злорадно-восхищённый, каким гимназистки смотрят вслед учителю, сказавшему директору то, что давно хотелось сказать всем.

Во дворе, у пролётки, его ждал Макар — продрогший, но бодрый, как молодой галчонок. Он кинулся к хозяину, едва тот показался на крыльце, и зачастил, перебивая сам себя:

— Ну что, барин? Видали? Родинка-то у неё... есть али нет? А я, покуда вы там, я тут всё осмотрел: двор, чёрный ход, дрова. Чёрный ход у них, барин, на засов изнутри, а дворник — вон, у ворот дремлет, так что ежели кто тайком ходит, так только через кухню, мимо кухарки. А ещё, — он понизил голос, — из окна мезонина, барин, за мной всё время кто-то глядел. Я спиной чувствовал. Повернусь — никого, а отойду — опять глядит.

— Это, брат, не за тобой глядели, — негромко ответил Вересов, усаживаясь в пролётку и запахивая шинель. — Это дом на тебя глядел. У него, знаешь ли, и окна-то устроены так, чтобы всё видеть, а себя не показывать. — Он обернулся на фасад, на золочёного грифона над дверью, который всё так же недвижно и всё понимающе смотрел на улицу. — И вот что я тебе скажу, Макар: старуха эта не только родинки не имеет. У неё и страха, почитай, нет. А человек, которому сказали, что на старом стекле снята не его невеста, а другая, — и который при этом даже бровью не ведёт, — такой человек, брат, либо ничего не знает, либо знает всё. И ставил бы я на второе.

— Стало быть, она и есть... — Макар не договорил и сделал круглые глаза.

— Стало быть, — кивнул Вересов, — нам с тобой придётся смотреть на этот дом не как на гости, а как на следствие. Дом, он, как и человек, врёт глазами. А мы с тобой, брат, на то и фотографии, чтоб глаза эти насквозь видеть.

В дверях его нагнала Лиза — запыхавшаяся, с горящими щеками.

— Господин Вересов! — зашептала она, хватая его за рукав. — Вы не подумайте, что я... я не нарочно про родинку разболтала! Просто бабушка спросила, где я была, а я, ну, я... — Она всхлипнула. — А теперь она велит папеньке вас больше не пускать. Что же теперь будет?

— А будет, барышня, вот что, — Вересов осторожно высвободил рукав. — Я приду к вам снимать семейство, как было уговорено. Или не приду — там видно будет. А вы покамест сделайте для меня две вещи. Первое: принесите мне бабушкин альбом. Тот, где карточки за старые годы. Хоть на часок, хоть тайком. Второе: разузнайте, кто у вас в доме из старой прислуги помнит вашего дедушку и бабушку по первым годам. Нянька, кухарка, приказчик какой-нибудь отставной. Старые люди, барышня, — они, как старые негативы: лежат в темноте и всё помнят. Надобно только уметь проявить.

— Про прислугу — это я мигом! — оживилась Лиза. — У нас Аксинья, кухарка, она с бабушкой ещё от Ситниковых пришла, всё про всех знает! И Архип Кузьмич, приказчик дедушкин, он теперь на покое, но к нам заходит, чай пьёт! А альбом... — она замаялась. — Альбом у бабушки в комнате, под образами. Но я стащу! Честное слово, стащу!

— Не стащите, а возьмёте почитать, — поправил Вересов. — Чужого не берите, барышня. Берите то, что плохо лежит, — это не кража, это расследование. — Он усмехнулся и прибавил

тише: — И вот ещё что. Про Архипа Кузьмича этого... вы с ним, случаем, про пластину не говорили?

— Говорила, — кивнула Лиза, не понимая. — Он в воскресенье приходил, чай пил. Я ему и похвасталась: вот, мол, дедушкину карточку нашла, невесту с родинкой. Он как-то... поперхнулся. Чай, говорит, горячий. И ушёл скоро.

— Поперхнулся, — медленно повторил Вересов, и что-то в нём насторожилось, как настораживается человек, услышавший в тёмной комнате шаг. — Ну-ну. Стало быть, и Архип Кузьмич ваш чай горячий не любит. Запомним.

В прихожей, куда Лиза вывела его, Вересов снова столкнулся с Игнатием Ермолаевичем: тот как раз возвращался из лавки — снял шляпу, стряхнул с неё капли, и взгляд его, скользнув по гостю, сделался тем особенным, тяжёлым, каким смотрят на человека, задержавшегося в доме дольше приличного.

— Уже уходите, господин фотограф? — спросил он без улыбки. — Стало быть, света для семейной карточки нынче так и не вышло? А я, признаться, полагал, вы у нас, по крайней мере, до чаю.

— Свет-то вышел, Игнатий Ермолаевич, — в тон ему ответил Вересов, натягивая перчатки. — Только не для карточки. Для разговора. А разговор нынче вышел такой, что чаю уже не хочется.

Игнатий Ермолаевич потемнел лицом. Он перевёл взгляд на Лизу, потом снова на Вересова, и Вересов увидел, как дрогнул у него уголок рта — не от гнева, а от того особого, скрытого напряжения, какое появляется у человека, когда при нём, не называя, произносят то, о чём он сам боится думать.

— И что же, — проговорил он медленно, — и что же вам изволила сказать матушка? Что на той пластине, про которую у нас весь дом шепчется, снята она сама, а родинка, дескать, сошла?

— Почти, — кивнул Вересов. — Слово в слово. Только вот что я вам скажу, Игнатий Ермолаевич, как человек, в лицах понимающий: родинки не сходят. Их, как совесть, нельзя потерять на дороге. Они либо есть, либо нет. И на пластине вашей, — он понизил голос, — она есть. А у вашей матушки, — он выдержал взгляд Игнатия, — её нет. И никогда не было.

В прихожей сделалось тихо. Лиза, стоявшая рядом, не дышала. А Игнатий Ермолаевич смотрел на Вересова не отрываясь, и в этом взгляде, как в медленно проявляющемся негативе, проступало то, что Вересов видел уже не раз: человек, которому сказали вслух то, о чём он сам догадывался всю жизнь и всю жизнь гнал от себя эту догадку.

— Вы... — начал Игнатий и осёкся. Потом взял себя в руки, расправил плечи и заговорил сухо, по-хозяйски: — Вы бы, сударь, поосторожнее с такими словами. И в нашем доме, и вообще. У нас семейство честное, торговое, и ежели кто вздумает... — Он не договорил, но Вересов понял его и без слов.

— А я и есть осторожен, — спокойно ответил Вересов. — Я потому и говорю это вам, а не на весь Загородный. И пришёл я не скандал учинять, а правду выяснять. Правду же, Игнатий Ермолаевич, — он взялся за дверную ручку, — правду выгоднее выяснить тихо. Покуда она сама не выяснилась громко. — И, откланявшись, вышел на улицу, чувствуя спиной, что Игнатий Ермолаевич смотрит ему вслед из прихожей — тем самым взглядом, каким в этом доме, похоже, провожали всякого, кто задерживался у дверей дольше положенного.

Он вышел на Загородный, где весенний ветер гонял по мостовой обрывки афиш, и долго стоял, глядя на золочёного грифона над дверью, который смотрел на него с тем же недвижным, всё понимающим выражением, с каким смотрела из кресла старая госпожа Каптелева. Макар, дожидавшийся у пролётки, подбежал, подпрыгивая.

— Ну что, барин? Видали бабушку-то? С родинкой она али без?

— Без, — сказал Вересов. — Без родинки. И без следа. И, что хуже всего, Макар, — без испуга. Женщина, которой внучка принесла весть о том, что на старом стекле снята не она, а другая, должна, по крайней мере, удивиться. Или оскорбиться. Или заинтересоваться. А она — ни того, ни другого. Она, брат, не удивилась. Она только велела мне не копать. А люди, которые велют не копать, — они, как правило, отлично знают, что там закопано.

— Стало быть, бабушка эта... она, значит, подмена! — ахнул Макар. — А настоящая невеста с родинкой — она где? Убили её, что ли?

— Тише ты, — оборвал его Вересов, оглянувшись на окна дома, за которыми, ему показалось, дрогнула портьера. — «Убили» — слово громкое. Ты его, Макар, покамест не произноси. Мы ещё и пластину-то толком не рассмотрели. А прежде чем подозревать живых, надобно отыскать мёртвых — или наоборот, это уж как повезёт. — Он сел в пролётку и запахнул шинель. — Поехали. Нам с тобой надобно навестить одного человека, который, может, и не знает, кто у Каптелевых лишний, но зато отлично знает, где эта лишняя снималась. Потому как старое стекло, брат, не в сундуке рождается. Оно рождается в ателье. А ателье, где тридцать лет назад служил дедушка Лизаветы, — оно, ежели бог даст, ещё стоит.

— И где оно? — Макар уже вскочил на облучок.

— На Невском, — ответил Вересов, и пролётка, скрипнув, тронулась, — у одного немца. А немцы, брат, народ аккуратный. У них, знаешь ли, и через тридцать лет всё в журналах записано. Даже родинки.

*

Пролётка, поскрипывая, катила по Загородному, и Вересов, откинувшись на сиденье, смотрел, как мимо проплывают вывески, мокрые от апрельской капли. Макар, сидевший на облучке рядом с извозчиком, то и дело оборачивался и порывался что-то сказать, но всякий раз наткался на короткое «погоди» и умолкал, надувшись, как сыч.

А Вересов думал. Думал он о старухе с Загородного, о её гладком, как у фарфоровой куклы, лбу, о том, как ни одна черта не дрогнула на этом лбу, когда речь зашла о родинке. Так не удивляются. Так защищаются — заранее, спокойно, как человек, который тридцать лет держал оборону и выучил её наизусть. И ещё он думал о том, что Лиза сболтнула про пластину не только домашним. Она похвасталась и старому приказчику Архипу — и тот поперхнулся чаем. А старики, которые поперхнулись чаем при слове «пластина», обыкновенно знают то, чего не знают даже вдовы. И это «то», по опыту Вересова, стоит им в конце концов слишком дорого.

— Ты вот что, Макар, — проговорил он наконец, и голос его прозвучал так, что Макар мигом развернулся всем корпусом. — Со мной ты не поедешь. Ступай-ка в другую сторону: разыщи этого Архипа Кузьмича. Живёт он, по словам барышни, где-то у Пяти углов, на покое. Скажешь: от господина фотографа, мол, надобно спросить про покойного Ермолая Каптелева — дескать, старая карточка нашлась, не помнит ли господин приказчик, кто на ней и при каких обстоятельствах её снимали. Только смотри, — Вересов понизил голос и подался к Макару, — лишнего не болтай. И ежели старик не захочет говорить — не настаивай. Приглядишься лучше, кто ещё возле него отирается. Потому что старик этот, ежели я хоть что-нибудь понимаю в чужих тайнах, теперь у нас главный свидетель. А со свидетелями, Макар, знаешь как бывает?

— Как, барин? — Макар, уже готовый прыгнуть, замер и уставился на хозяина.

— А так, — Вересов глянул на проплывавшую мимо вывеску, с которой срывалась и падала в лужи вода, — что они имеют обыкновение не доживать до допроса. Особенно ежели знают то, о чём их просили молчать. Так что поспешай. И запомни: где Архип, там и ниточка. А оборвётся ниточка — нам с тобой, брат, останется одно: таскать правду со дна.

Макар перекрестился мелко и быстро, как от внезапного сквозняка, соскочил на мостовую и зашагал в сторону Пяти углов, а пролётка покатила дальше, к Невскому, — туда, где

тридцать лет назад, в комнате, пахнувшей коллодием, один влюблённый ученик фотографа снял на стекло невесту, не подозревая, что снимает не одну, а две судьбы сразу.

Глава третья,

в которой старый ретушёр помнит все родинки Петербурга, а журнал заказов — все лица

Ателье на Невском Вересов отыскал по запаху.

Вернее, сперва — по вывеске: над дверью висела, облупленная по краям, золочёная надпись «Фотография Г. Линда. Портреты, группы, виды», а под ней, помельче и потемнее, — «Основана в 1850 году». Но узнал он его по запаху, ещё не переступив порога: карболка, эфир, коллодий и тот особенный, ни с чем не сравнимый холодок, какой бывает только в домах, где живут не люди, а свет. За тридцать лет этот запах не изменился — изменился только город вокруг, да и тот, казалось, лишь притворился другим.

— Заходите, заходите, — донеслось из глубины, и Вересов, шагнув в полутёмную приёмную, увидел человека, которого, верно, и ожидал увидеть: старика в бархатной куртке, с лупой на лбу, как у часовщика, и с лицом, до того похожим на старый дагеротип, что, казалось, от него пахло серебром. Старик сидел за конторкой и, не поднимая головы, водил кисточкой по какому-то негативу — с той бережной, несуетной сноровкой, с какой работают только люди, пережившие несколько эпох.

— Густав Карлович Линд? — спросил Вересов.

— Предположим, — отозвался старик, не отрываясь от работы. — А вы, сударь, судя по тому, как вы оглядели витрину и принялись к коллодию, — коллега. Я угадал?

— Угадали. Вересов. Фотограф с Аптекарского.

— Вересов... — Линд наконец поднял голову, сдвинул лупу на лоб и уставился на гостя выцветшими, но ясными глазами. — Вересов. Это не про вас ли в газетах писали — про «живого покойника»? И про даму, которой на снимке не было? — Он вдруг улыбнулся, и улыбка у него вышла молодой, как у человека, который всю жизнь проработал с лицами и до сих пор радуется им, как ребёнок. — Так это вы, стало быть, тот самый. Ну, тогда у нас с вами, сударь, общая беда: и вам, и мне люди приносят одни и те же лица. Только вам — живые, а мне — и по сей день, прости господи, покойников снимать заказывают, «на память». Садитесь, коллега. Чай? Впрочем, что я — чай вы и дома пить умеете. Вы, небось, по делу.

— По делу, — кивнул Вересов, усаживаясь на стул, с которого на него глядели, со стен, десятки лиц: дамы в кринолинах, купцы с бородами, дети, застывшие перед объективом тридцать и сорок лет назад, — все одинаково торжественные, как прихожане, все одинаково бесмертные. — По старому, очень старому делу. Пятьдесят третий год. Помолвка. Молодой человек по фамилии Каптелев — он, если не ошибаюсь, у вас тогда в учениках служил.

Линд замер. Потом медленно снял с носа пенсне, протёр его о рукав, снова надел и посмотрел на Вересова уже без всякой улыбки.

— Каптелев, — повторил он. — Ермолай. Ермолай Каптелев. — И вдруг, по-стариковски шумно вздохнув, откинулся в кресле. — Господи, тридцать лет. Тридцать лет я не слышал этой фамилии, а ведь было время — мы с ним в одной тёмной комнате, бок о бок, проявляли. Он, Ермолай-то, на руку был золотой: свет чувствовал, как иной скрипач звук. Ему бы в фотографиях и остаться, да нет — влюбился в купеческую дочку и пошёл в купечество. Деньги, сударь, они и свет пересиливают. — Линд усмехнулся. — Так что ж вам от меня надобно? Ермолая, почитай, лет пять как схоронили.

— Мне надобен пятьдесят третий год, — сказал Вересов. — Помолвка Каптелева с девицей Ситниковой. Он её, говорят, сам снял. Пластина сохранилась. И вот какая странность, Густав Карлович: на пластине у невесты — родинка над правой бровью. А у вдовы Каптелева, которая нынче здравствует на Загородном, — никакой родинки нет. И, по её словам, никогда не было.

Линд долго молчал, глядя на Вересова, и в тишине этой было слышно, как за стеной, в тёмной комнате, капает вода — равномерно, как часы, отсчитывающие чьё-то терпение.

— Журналы у меня целы, — сказал он наконец. — Я, сударь, за тридцать три года ни одного листа не выбросил. У нас, у немцев, знаете, порядок: что записано — то свято. Пятьдесят третий год, говорите? — Он поднялся, проковылял к шкафу и, достав связку ключей, долго возился с нижним ящиком, откуда наконец извлёк толстую, перетянутую бечёвкой тетрадь в кожаном переплёте. — Вот. С января по июнь пятьдесят третьего. Тут у меня, батенька, все лица Петербурга. И все его родинки, — прибавил он, и Вересову почудилось, что старик усмехнулся.

Он раскрыл тетрадь, полистал пожелтевшие страницы, на которых ровным, старательным почерком были записаны имена, числа и приметы, — и вдруг остановился, ткнув пальцем в одну из строк.

— Вот оно. Апрель, пятьдесят третий. «Снят портрет помолвочный: купеческая дочь Анфиса Ситникова с женихом, г-ном Каптелевым. Снимал ученик Е. Каптелев под присмотром мастера. Примета модели, для ретуши: родинка над правой бровью». — Линд поднял голову. — Родинка, сударь. Над правой бровью. Записано для ретуши, чтоб, упаси бог, не замазать: примета, она у человека как подпись.

— Для ретуши, — повторил Вересов, впившись глазами в строку. — Стало быть, снималась девица с родинкой. Снималась — и снялась. А вышла замуж, по всем бумагам, та же Анфиса, только без родинки. — Он помолчал. — Густав Карлович, а вы сами-то её помните? Невесту эту?

Линд снова сел, сцепил руки на столе и долго смотрел куда-то мимо Вересова, в стену, увешанную старыми портретами.

— Помню, — сказал он тихо. — Отчего ж не помнить. Ермолай с неё глаз не сводил. Говорил: «Свет, Густав, у неё в лице особенный, снимать — одно удовольствие». Он её, знаете, до помолвки-то и не видел — по-купчески, смотрины, да и те с маменькой. А как снял да проявил — так, считай, и пропал. Влюбился с негатива. Бывает, — он развёл руками, — с нашим братом, фотографом, это сплошь и рядом. Мы ж все поначалу влюбляемся не в человека, а в его изображение.

— А потом? — спросил Вересов. — После венчания вы их видели?

— Видел, — кивнул Линд. — Раз или два. Ермолай заходил — то за пластинами, то просто так, выпить чаю по-старому. И жену приводил. Анфису Павловну. — Он вдруг замолчал, и лицо его сделалось каким-то неприятно-внимательным, как у человека, который только сейчас, тридцать лет спустя, понял то, что всё это время лежало у него перед глазами. — И вот что я вам скажу, коллега. Странно, что я раньше не подумал... Но тогда, в пятьдесят третьем, мне и в голову не пришло. А теперь, как вы родинку-то эту помянули...

— Что? — Вересов подался вперёд.

— А то, — Линд понизил голос, — что жена Ермолая, которую он ко мне приводил, — она на ту, с негатива, походила как... как два отпечатка с одной пластины. Одно лицо, один рост, один голос даже. Но у той, с негатива, — Линд снова ткнул пальцем в тетрадь, — родинка была над бровью. А у жены его, что ко мне чай пить приходила... — он запнулся и закончил почти шёпотом: — Не было. Я, дурак старый, тогда решил, что обознался. Мало ли, думаю, показалось: иные дамы родинки и сводят, и замазывают. А вы, выходит, говорите — не сходится.

— Не сходится, — подтвердил Вересов. — И не сходилось, выходит, уже тогда. А вы, Густав Карлович, — человек с зорким глазом. Ретушёр, который помнит родинку, снятую тридцать лет назад, — это, знаете ли, не всякий умеет.

Линд помолчал, потом медленно снял с носа пенсне, протёр его о рукав, снова надел и посмотрел на Вересова уже без всякой улыбки.

— А знаете, что он мне сказал, Ермолай-то, накануне венчания? — заговорил старик, и голос его потеплел от воспоминания. — Пришёл ко мне вечером, сел вот на этот самый стул, что вы сейчас занимаете, и говорит: «Густав, я, кажется, невесту свою только теперь и полюбил. Когда снял. Раньше-то смотрины, маменька, все дела — глядел и не видел. А как проявил её, как она у меня на стекле вышла — так и пропал. Свет, говорит, у неё в лице особенный. Снять её — одно удовольствие, а жениться — и того пуще». — Линд покачал головой. — Вот ведь как, сударь. Люди сначала человека видят, потом влюбляются. А наш брат — наоборот. Мы сначала на стекло смотрим, а уж потом на человека. И выходит, что любим мы не живую, а её изображение. А изображение, — он вздохнул, — изображение, сударь, не спорит, не стареет и никогда не смотрит мимо. Оно всегда глядит на тебя. Оттого и любовь наша крепче. И оттого же, — он вдруг понизил голос, — горше, ежели окажется, что изображение-то было не её.

Он поднялся, проковылял к стене, где в ряд висели старые дагеротипы, и, сняв один — с господина в сюртуке с высоким воротником, — протянул Вересову.

— Вот, полюбуйтесь. Извольте. Заказчик. Снимал я его лет сорок назад. Хорош? А ведь у него, сударь, — Линд ткнул пальцем в стекло, — у него тут, под левым глазом, бородавка была. Я её, по его же просьбе, заретушировал. Свёл, как набело. Клиент остался доволен, а я с тех пор зарок дал: родинки и приметы не сводить. Потому как примета, сударь, — это не изъян. Это подпись господня. Её тронешь — и человек уж не тот. Ни на стекле, ни в жизни. — Он вернул дагеротип на место и обернулся. — А ваша девица с родинкой... её ведь, по записи-то, для ретуши отметили: «не замазывать». Потому и уцелела. Тридцать лет как живая.

— А вы, стало быть, полагаете, что Ермолай женился не на той, что снимал?

— Я полагаю, — осторожно сказал Вересов, — что светопись тридцать лет хранила то, чего люди предпочли не заметить. А вот кто кого подменил и зачем — это мне ещё предстоит выяснить. И потому, Густав Карлович, я вас попрошу вот о чём. — Он наклонился к старику. — Не найдётся ли у вас, в этих ваших святых журналах, ещё чего-нибудь про семейство Ситниковых? Про ту же девицу Анфису — снимали ли её до помолвки, с кем, одна ли она приходила? Или, может, — Вересов выдержал паузу, — приходила ли к вам когда-нибудь другая девица, с тем же лицом, но без родинки?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.